**(начало дня Обломова)**

**Пробило половина десятого**, Илья Ильич встрепенулся.

— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть знать: пора за дело! …

**Прошло с четверть часа**.

— Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!...

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут **пробило еще полчаса.**

— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — **Одиннадцать часов скоро**, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар! Так умыться-то готово?

— Готово! — сказал Захар.

— Ну, теперь…

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

…

— Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано?

И он, лежа, с любопытством глядел на двери.

(приходит приятель Обломова Волков, рассказывает, насколько занят его день)

«В десять мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это жизнь! — Он сильно пожал плечами. — Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр и влюбиться в какую-нибудь Лидию… она миленькая! В деревне с ней цветы рвать, кататься — хорошо, да в десять мест в один день — несчастный!» — заключил он, перевертываясь на спину и **радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.**

(приходит бывший сослуживец Обломова Судьбинский, рассказывает, насколько занят его день)

— Здравствуй, Судьбинский! — весело поздоровался Обломов. — Насилу заглянул к старому сослуживцу! Ты еще на службу? Что так поздно? — спросил Обломов. — Бывало ты с десяти часов…

— Бывало — да, а теперь другое дело: в двенадцать часов езжу. — Он сделал на последнем слове ударение.

— А! догадываюсь! — сказал Обломов. — Начальник отделения! Давно ли?

Судьбинский значительно кивнул головой.

— К святой, — сказал он. — Но сколько дела — ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!

— Гм! Начальник отделения — вот как! — сказал Обломов. — Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь. Молодец! **Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще — ой, ой!**

Он покачал головой.

…

«Увяз, любезный друг, по уши увяз, работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома — несчастный!»

Обломов испытал **чувство мирной радости**, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и **гордился,** что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

(приходит приятель Обломова литератор Пенкин, рассказывает, насколько занят его день)

Из разговора с Пенкиным

— (Пенкин о темах литературы) Что ж еще нужно? Кипучая злость — желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком… тут все!

— Нет, не все! — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же **человечность-то?** Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью**. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним,** если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… — сказал он, улегшись опять покойно на диване.

— Вон куда хватили! — в свою очередь, с изумлением сказал Пенкин.

Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван.

«Ночью писать, — думал Обломов, — когда же спать-то? А подь, тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, **тратить мысль, душу свою** на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться… И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра, праздник придет, лето настанет — а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»

Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и **радовался, что** лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец

**Рассказ о том, что дела в Обломовке (деревня Обломова) идут всё хуже.**

Со времени смерти стариков (родителей Обломова) хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видно из письма старосты, становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов.

Он и сбирался сделать это, но все откладывал.

От этого большую часть узора жизни, который он чертил в своем уединении, занимал **план устройства** имения и управления крестьянами.

Он **несколько лет неутомимо** работает над планом, думает, размышляет и ходя, и лежа, и в людях, то дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью, а иногда вдруг, как молния, сверкнет новая, неожиданная мысль и закипит в голове — и пойдет работа.

Он как **встанет** утром с постели, после чая л**яжет** тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока, наконец, голова утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня для общего блага.

Тогда только решается он отдохнуть от трудов и **переменить заботливую** позу на другую, менее деловую и строгую, более удобную для мечтаний и неги.

Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво **переворачивается на спину** и, устремив печальный взгляд в окно, к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом.

И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!

**Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты**! Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит, выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия.

Или изберет он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему, он пожинает лавры, толпа гоняется за ним, восклицая: «Посмотрите, посмотрите, вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!»

Никто не знал и не видал этой **внутренней жизни Ильи Ильича**: все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать, что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали.

***О способностях его, об его внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца*** знал подробно и мог свидетельствовать Штольц, но Штольца почти никогда не было в Петербурге

**Продолжение дня Обломова.**

Илья Ильич занялся разработкою плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных, коренных статей **об оброке**, о запашке, **придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян** и перешел к устройству собственного житья-бытья в деревне.

Его занимала **постройка деревенского дома**, он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет, даже вспомнил о мебели и коврах.

После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которое намеревался принимать, **отвел место для конюшен, сараев, людских** и разных других служб.

Наконец обратился к саду: он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации, подумал было о парке, но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям.

Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной, а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд, с полей восходит пар, становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне толпами идут домой.

Праздная дворня сидит у ворот, там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки, кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему на шею, за самоваром сидит… царица всего окружающего, его божество… женщина! жена! А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол, Захар, произведенный в мажордомы, с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку, садятся за обильный ужин, тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие, все знакомые лица, потом отходят ко сну…

**Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке.**

Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством: он был счастлив.

Теперь его поглотила любимая мысль: он думал о **маленькой колонии друзей**, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать, ему видятся все ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком с неувядающим аппетитом, будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень.

— Боже, боже! — произнес он от полноты счастья и очнулся.

— А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, — прошептал он. — **Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не поверил и денег не выдал — утро так и пропало!**

Он задумался… «Что же это такое? А другой бы все это сделал? — мелькнуло у него в голове. — Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что **другой успел бы написать все письма**, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и **переехал б**ы на новую квартиру, и **план исполнил** бы, и в деревню **съездил бы**…

«А я! я… не „другой“!» — уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

**Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова.**

Как **страшно** стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за другим, и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему, и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования.

А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, ***светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.***

Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения.

Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою.

«Отчего же это я такой? — почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло, — право?»

Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут «другие», он вздохнул, закрыл глаза, и чрез несколько минут **дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.**

Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии.

В кабинете раздавалось мерное храпенье.

— Спит, — прошептал Захар, — **надо будить: скоро половина пятого.**

Он кашлянул и вошел в кабинет.

— Илья Ильич! А, Илья Ильич! — Вставайте: пятого половина.

— Подь прочь! — проворчал Илья Ильич и погрузился опять в тяжелый сон.

— Знаешь ты дрыхнуть! — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. — Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый! Зачем ты на свет-то божий родился?

— Да вставай же ты! говорят тебе… — заревел было Захар.

— Что? Что? — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову.

— Что, мол, сударь, не встаете? — мягко отозвался Захар.

— Нет, ты как сказал-то — а? Как ты смеешь так — а?

— Как?

— Грубо говорить?

— Это вам во сне померещилось… ей-богу, во сне.

— Ты думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слышу…

А сам уж опять спал.

— Ну, — говорил Захар в отчаянии, — Вставайте, вставайте! — вдруг испуганным голосом заговорил он. — Илья Ильич! Посмотрите-ка, что вокруг вас делается.

Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом и опять лег, с глубоким вздохом.

— Вставайте, вставайте! — во все горло заголосил Захар и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав.

Обломов вдруг, неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара.

— Постой же, вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почивать хочет! — говорил он.

Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем от сна и начал потягиваться, зевая.

— Дай… квасу… — говорил он в промежутках зевоты.

Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись.

— Штольц! Штольц! — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю.

— Андрей Иваныч! — осклабясь, говорил Захар.

Штольц продолжал покатываться со смеха: он видел всю происходившую сцену.

Штольц поглядел на лежащего Обломова, Обломов поглядел на него.

Штольц покачал головой, а Обломов вздохнул.

— **Тебе, кажется, и жить-то лень? — спросил Штольц.**

— А что, ведь и то правда: лень, Андрей.

Обломов странно и пристально глядел на Штольца.

— Где же **идеал жизни**, по-твоему? — без увлечения, робко спросил он. — Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! — прибавил он смелее. — Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве **не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?**

— Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов.

— Не все, и ты сам, лет десять, не того искал в жизни.

— Чего же я искал? — с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее.

— Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы?

— Захар куда-то дел, — отвечал Обломов, — тут где-нибудь в углу лежат.

— В углу! — с упреком сказал Штольц. — В этом же углу лежат и **замыслы твои «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников (твои слова), работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать — значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов».** Помнишь, ты хотел объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свой? «**Вся жизнь есть мысль и труд, — твердил ты тогда, — труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть с сознанием, что сделал свое дело**».

(Штольц) — Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского: «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микельанджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!» И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы! Глупости!

— Да, да, помню! — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. — Ты еще взял меня за руку и сказал: «Дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого…»

— Помню, — продолжал Штольц, — как ты однажды принес мне перевод из Сея, с посвящением мне в именины, перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? По-английски начал учиться… и не доучился! А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку: «Я твой, Андрей, с тобой всюду» — это все твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья? Я два раза был за границей, после нашей премудрости, смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене, потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж — это роскошь, и не все в состоянии и обязаны пользоваться этим средством, а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь…

— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — заметил Обломов.

— Никогда не перестану. Для чего?

— Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов.

— Когда учетверю их, и тогда не перестану.

— **Так из чего же, — заговорил он, помолчав, — ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?..**

— Деревенская обломовщина! — сказал Штольц.

— Или достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом…

— Петербургская обломовщина! — возразил Штольц.

— **Так когда же жить? — с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. — Для чего же мучиться весь век?**

— Для самого труда, больше ни для чего. **Труд** — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть в последний раз. Теперь или никогда! — заключил он.

Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.

— Не брани меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги! — начал он со вздохом. - Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь: «Теперь или никогда больше». Еще год — поздно будет!

Он вздохнул:

— Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня … Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну! Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии, гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии, гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее, гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, — на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху, гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму — положенными днями, лето — гуляньями и всю жизнь — ленивой и покойной дремотой, как другие… Даже самолюбие — на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П\* пожал мне руку? А ведь самолюбие — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул…

Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал.

— Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, — продолжал Обломов, — да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что **двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода**, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше.

— Да, воды много утекло! — сказал он. — Я не оставлю тебя так, я увезу тебя отсюда, сначала за границу, потом в деревню: похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело…

— Да, поедем куда-нибудь отсюда! — вырвалось у Обломова.

— Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу, потом станем собираться… Я не отстану — слышишь, Илья?

— **Ты все завтра!** — возразил Обломов, спустившись будто с облаков.

— А тебе бы хотелось «не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня»? Какая прыть! Поздно нынче, — прибавил Штольц, — но через две недели мы будем далеко…

— Что это, братец, через две недели, помилуй, вдруг так!.. — говорил Обломов. — Дай хорошенько обдумать и приготовиться… Тарантас надо какой-нибудь… разве месяца через три.

— Выдумал тарантас! До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека, как будет удобнее, а там во многих местах железные дороги есть.

— А квартира, а Захар, а Обломовка? Ведь надо распорядиться, — защищался Обломов.

— Обломовщина, обломовщина! — сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать. — Теперь или никогда — помни! — прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.